В. М. Алпатов
ЯПОНИЯ
Язык и культура
GOTEMBA PREMIUM OUTLETS
サロンパス
MV
STUDIA PHILOLOGICA

Владмир Михайлович Алпатов

Япония: язык и культура

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=271852
Япония: язык и культура.: Языки славянских культур; Москва; 2008
ISBN 978-5-9551-0273-3

Аннотация

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности. Книга продолжает серию исследований В. М. Алпатова, начатую монографией «Япония: язык и общество» (1988), но в ней отражены изменения недавнего времени, например, связанные с компьютеризацией.

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 4
Глава 1 7
1.1. Происхождение японского языка 8
1.2. Эпоха китайского влияния 11
1.3. Эпоха американского и европейского влияния 15
Глава 2 20
2.1. Важность языковых проблем 22
2.2. Уникальность японского языка 23
2.3. Преувеличение трудностей своего языка 26
2.4. Японский язык – для японцев 27
2.5. Особое богатство японского языка 29
2.6. Культура молчания 30
Глава 3 32
3.1. Японский языковой национализм 32
3.2. О японском мозге 35
3.3. Картины мира и японская уникальность 37
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Владимир Михайлович Алпатов
Япония: язык и культура

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследователи культуры далеко не всегда принимают во внимание такой ее важнейший компонент как язык. Нередко считается, что язык—лишь оболочка, в которую заключаются те или иные мысли и идеи, а для культуролога—вспомогательное средство для познания культуры. Но еще почти два столетия назад великий мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт писал: «Язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [Гумбольдт 1984: 48]. В XX в. о языке как важнейшей составной части культуры писали такие крупнейшие ученые, как Э. Сепир и Н.С. Трубецкой. Указывают на это и японские ученые [Haga 2004: 12]. И первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. Сейчас эта проблематика активно изучается в науке разных стран, включая Россию.

Вопрос о языковой культуре Японии одновременно и разработан, и не разработан. В самой Японии о ряде ее аспектов (несходство японской и западной языковой культуры, японская картина мира, роль иероглифической письменности в жизни японцев, специфика форм вежливости, особенности женской речи и др.) пишут очень много. У нас и в западных странах о них также существует немало публикаций. Однако надо учитывать две проблемы. Во-первых, как правило, разные стороны японской языковой культуры рассматриваются по отдельности, независимо друг от друга, работ обобщающего характера немного, а у нас в японистике после Н. И. Конрада, Н. А. Невского и других первооткрывателей возобладала узкая специализация. Во-вторых, что самое важное, очень многое из того, что сейчас публикуется, требует критического к себе отношения; особенно это относится к японским работам. В них нередко авторы исходят из априорных тезисов, например, о японской исключительности, о превосходстве японской культуры над западной. Они могут в большей степени служить материалом для изучения японских стереотипов массового сознания, чем собственно научной базой. Однако даже в худших публикациях такого рода к априорным тезисам подгоняются факты, сами по себе интересные и требующие внимания и объяснения. За пределами Японии, в том числе в России, довольно часто к этим публикациям относятся некритически, принимая на веру спорные высказывания. Поэтому нам представляется необходимым, помимо рассмотрения собственно лингвокультурологичес-ких вопросов, дать критический обзор публикаций, прежде всего, японских, по нашей тематике.

Книга затрагивает ряд вопросов, которые мы рассматривали в книге «Япония: язык и общество», публиковавшейся двумя изданиями в 1988 и 2003 гг. (роль диалектов, заимствования из английского языка, формы вежливости, иероглифы и др.). Мы старались по возможности избегать пересечения проблематики и повторения примеров, хотя совсем обойтись без этого невозможно. Но, во-первых, многие проблемы (воззрения японцев на язык, языковой аспект японского национализма, языковые картины мира и др.) мы систематически рассматриваем только в этой книге. Во-вторых, и пересекающиеся проблемы мы анализируем в ином аспекте: в той книге нас интересовала роль языковых процессов в социальной жизни Японии, здесь мы изучаем эти процессы в культурном плане, хотя, разумеется, глухой стены между данными аспектами нет. В-третьих, книга «Япония: язык и общество» была в основном адресована специалистам (профессионально занимающимся Японией, а

также социолингвистам). А эту книгу мы хотим адресовать и более широкому кругу людей, интересующихся Японией, но не всегда владеющих достаточной информацией. Японская культура привлекает у нас большое внимание, но с ее восприятием связано немало мифов. Некоторые из них восходят к мифам, создаваемым в самой Японии; другие мифы возникают из-за того, что мы часто видим в чужой культуре лишь то, что сами хотим видеть. Нам хотелось бы как-то принять участие в борьбе с некоторыми ходячими мифами.

И еще одно различие двух наших книг связано с временной дистанцией: книга «Япония: язык и общество» писалась более двух десятилетий назад. Мы не отказываемся ни от одного из ее существенных положений, но она отражала (при отдельных экскурсах в более ранние эпохи) ситуацию середины 80-х гг. XX века. Безусловно, в последние примерно полвека в Японии не наблюдалось значительных социальных перемен, культурная ситуация также сравнительно стабильна, поэтому многое из того, о чем мы писали в 80-е годы, сохранилось и сейчас. Но мы не можем не фиксировать и изменения недавнего времени, например, связанные с компьютеризацией, в 80-е гг. только начинавшейся, с попытками усилить роль английского языка, с изменением положения женщин. Прежде всего, книга посвящена японской языковой культуре последних пятидесяти лет, и основной акцент в ней сделан на современность. Однако, еще в большей степени, чем в прежней книге, мы должны учитывать и общие свойства японского общества и японской культуры, свойственные разным историческим эпохам. В начале книги мы даем историческую главу, где выявляем некоторые константы японской языковой культуры и особенности ее формирования и развития, а в других главах иногда делаются экскурсы в прошлое.

Мы отдаем себе отчет в том, что лингвокультурология пока что не выработала научных методов для решения большей части своих проблем. Дело не в количестве фактов: их очень много, и мы не можем претендовать на полный их охват. Однако строгих критериев отбора и классификации фактов пока нет, что и открывает возможности для мифотворчества и ненаучных спекуляций. Во многом приходится часто руководствоваться так называемым здравым смыслом. Но нам представляется, что данные проблемы очень актуальны, и если ими не заниматься, то место пусть нестрогих, но стремящихся к объективности исследований может занять откровенно ненаучная продукция.

Данную книгу не следует рассматривать как исследование по строю японского языка. Конкретные языковые примеры, иногда с необходимыми для неспециалиста объяснениями, будут даваться, прежде всего, как иллюстративный материал. Для тех, кто хочет более подробно познакомиться с теми или иными грамматическими или лексическими явлениями японского языка, в книге даются отсылки к наиболее важным из существующих публикаций по той или иной конкретной тематике. Для первичного знакомства со строем японского языка можем рекомендовать книги [Shibatani 1990; Iwasaki 2002; Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008].

В книге не ставится задача систематического сопоставления японского языка с русским или языковых процессов в Японии и в нашей стране. Однако совсем избегать такого рода сравнений было бы слишком жестким ограничением, иногда те или иные аналогии или контрасты слишком очевидны. Сейчас многие публикации в Японии и вне ее посвящены сопоставлению японского языка с английским и сравнению языковых и/или культурных ситуаций в Японии и в западных странах, эти вопросы также иногда затрагиваются в нашей книге.

Материал книги в значительной части был собран во время командировок в Японию в 1997, 2001 и 2007 годах, осуществленных благодаря соглашениям о сотрудничестве между Институтом востоковедения РАН и университетами Кэйо и Хосэй в Токио.

Ряд разделов книги ранее печатался в виде статей, список их приводится в ее конце. Некоторые из статей при включении в книгу подверглись переработке.

Японские примеры и большая часть японских лингвистических терминов даются в стандартной латинской (хэпбёрновской) транскрипции. Эта транскрипция обладает большим числом недостатков (см. главу 9), но сейчас она наиболее распространена в мире, с чем приходится считаться. Долгота гласных, допускающая в данной транскрипции несколько вариантов обозначения, передается удвоением гласной буквы. Но если то или иное японское слово уже вошло в русский язык, то оно пишется в книге кириллицей в соответствии с принятым написанием, в том числе без передачи долготы гласных в оригинале. Японские антропонимы в соответствии с принятыми в нашей японистике правилами даются в порядке японского языка: фамилия + имя.

Автор благодарит А. В. Костыркина, **Е. В. Маевского**, А. С. Панину и З. М. Шаляпину за высказанные замечания и Е. Л. Катасонову за содействие в сборе материала для книги.

Глава 1
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В данной главе мы кратко рассмотрим основные этапы развития японского языка в связи с развитием японской культуры.

1.1. Происхождение японского языка

Мы знаем, что различные языки относятся к различным языковым группам и семьям. Общеизвестно, что русский язык – славянский, английский—германский, а татарский—тюркский; про русский и английский также известно, что они вместе с другими славянскими и германскими языками входят в большую индоевропейскую языковую семью, куда тюркские языки не относятся. Родство языков не всегда означает культурную близость, не всегда верно и обратное: скажем, венгры при значительных языковых различиях по культуре гораздо ближе к соседним славянским и германским народам, чем к ближайшим языковым родственникам—ханты и манси на севере Западной Сибири. Но всё-таки родство языков и близость культур совпадают очень часто: и славянские, и германские, и тюркские народы имеют немало культурных сходств.

А с родственными связями японского языка до сих пор не всё ясно. Например, в не новом, но до сих пор благодаря своим высоким качествам используемом в наших вузах учебнике А. А. Реформатского «Введение в языковедение» дана классификация языков по семьям и группам. Здесь под номером 20 дается класс «Отдельные языки Дальнего Востока, не входящие ни в какие группы» [Реформатский 1967: 434]. Здесь перечислены японский, корейский, айнский языки, а также *«рюкюский,* очевидно, родственный японскому» (к вопросу о статусе языковых образований на островах Рюкю мы обратимся в главе 5). Во всей книге только эти языки прямо названы не входящими ни в какие группы. Правда, на деле А. А. Реформатский наряду с установленными семьями включает в классификацию и объединения языков по географическому признаку: «Языки Северной Америки» (имеются в виду индейские), «Австралийские языки» (аборигенов) и др., но там речь идет о недостаточно известных и изученных языках. Японский же язык не может ставиться с этими языками в один ряд ни по числу носителей, ни по экономическому, политическому и культурному значению, ни по уровню изученности. Кроме того, установление родственных связей языков обычно тем легче, чем на большее время можно проследить их историю по письменным памятникам, поэтому часто оно затруднено для семей и групп, целиком состоящих из бесписьменных и младописьменных языков. Но японский язык по письменным памятникам известен с VIII в. н. э., то есть первые тексты этого языка на два столетия старше древнейших известных нам славянских памятников. И всё равно родственные связи японского языка до сих пор вызывают споры, хотя сейчас ситуация стала яснее, чем она была в годы, когда создавался учебник А. А. Реформатского.

По современным представлениям, на Японских островах издавна (не позже I тысячелетия до н. э.) жили аборигены (так называемая культура Дзёмон), чей язык был австронезийским, родственным языкам современных Индонезии и Филиппин; ближе всего он был, по-видимому, к ныне почти исчезнувшим языкам аборигенов Тайваня. Однако эти люди жили лишь на Рюкю, Кюсю, Сикоку и в западной части Хонсю, а восточнее на Хонсю и на Хоккайдо жили айны, народ загадочного происхождения, антропологически отличный от всех исторически известных соседей, с языком, родственные связи которого до сих пор не установлены. Точная граница между территориями раннего расселения австронезийцев и айнов на Хонсю не установлена. В первые века новой эры с материка вторглись алтайские племена (кочевники, перешедшие после переселения к оседлости). Японский этнос образовался от смешения этих народов.

Однако они внесли разный вклад в образовавшуюся в начале новой эры японскую культуру и в тогда же сформировавшийся японский язык. Айны, охотники и рыбаки, не знавшие земледелия, были частично ассимилированы, частично оттеснены в северную часть Японии (о дальнейшей судьбе айнов и их языка будет сказано в шестой главе). Вклад айнов в

японский язык (как и в японскую культуру в целом) невелик, и его можно сопоставить с индейским компонентом в американском варианте современного английского языка. Айнский пласт лексики значителен в топонимике: не только топонимика Хоккайдо почти целиком происходит из айнского языка, но и название знаменитой горы *Фудзи* некоторые ученые выводят оттуда. Но в остальной лексике айнских по происхождению слов очень мало; самое, пожалуй, известное из них (не считая самого названия народа *ainu) – ottosei* 'морской котик'.

А австронезийские и алтайские параллели со многими словами древнеяпонского языка несомненны. Вопрос, однако, в том, какой из двух слоев исконен, а какой следует считать результатом древних заимствований. Обе точки зрения существовали. Гипотезу о связи японского языка с алтайскими (тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими и, возможно, корейским) впервые выдвинул А. Боллер еще в середине XIX века. Гипотеза о его связи с австронезийскими языками была впервые сформулирована крупнейшим отечественным ученым Е. Д. Поливановым в 10-е гг. XX в. Существует и концепция, согласно которой японский язык—смешанный алтайско-австронезийский, ее отстаивал самый крупный из японских специалистов по сравнительно-историческому языкознанию Мураяма Ситиро (1908–1995). Однако большинство специалистов в принципе отрицают существование смешанных языков и считают, что каждый язык принадлежит только к одной семье и одной группе, и эта принадлежность не может измениться.

И лишь недавно выдающийся отечественный ученый Сергей Анатольевич Старостин (1953–2005) подтвердил на обширном языковом материале выдвинутую еще в XIX веке гипотезу о его родстве с алтайскими языками, включая корейский [Старостин 1991]; см. также фундаментальный алтайский словарь [Starostin, Dybo, Mudrak 2003], включающий и японский материал. Основная лексика во вновь образовавшемся языке осталась алтайской (почему и можно говорить, что японский язык – алтайский), но очень изменилась, алтайской осталась и грамматика, агглютинативная в своей основе, фонетический же строй более сходен с австронезийскими языками. По-видимому, потомки аборигенов – австронезийцев, сменив язык, не усвоили алтайскую фонетику, в результате чего фонетическая система значительно упростилась по сравнению с другими алтайскими языками: почти отсутствуют закрытые слоги и стечения согласных, постепенно исчезло характерное для алтайских языков явление сингармонизма (гармонии гласных). С.А. Старостин и российские ученые его школы значительно продвинули вперед доказательство японо-алтайского родства. Но и сейчас это родство признано не всеми, особенно за рубежом, см. [Алпатов 2007].

Но такое родство – очень дальнее: по данным С. А. Старостина, предок японского языка отделился от предков остальных алтайских языков раньше, чем разделились разные ветви индоевропейской семьи. Даже корейский язык, по-видимому, генетически ближайший к японскому из ныне существующих языков, находится дальше от него, чем, скажем, русский, английский и хинди друг от друга. Ни один из столь крупных, социально значимых и имеющих столь долгую письменную традицию языков мира не обособлен так, как японский. Эта черта, как мы увидим в следующей главе, сильно повлияла на языковые представления японцев.

Контакты между алтайской и австронезийской культурами завершились еще в первом тысячелетии н. э. стадией полного слияния. А в языке австронезийские по происхождению слова и морфемы (за пределами базовой лексики их немало) не имеют фонетических или семантических отличий от алтайских. Не только обычные носители языка, но и профессиональные лингвисты не знают происхождения тех или иных слов (нередко в Японии и сейчас в ходу народные этимологии). Их могут различить лишь редкие компаративисты – японисты (в Японии при общем значительном развитии науки о языке сравнительно-историческое языкознание за сто с лишним лет продвинулось довольно мало), но и среди них нередко нет единства. В Японии с давних пор принято объединять оба слоя лексики и древнейшие

дописьменные заимствования (в основном из корейского и китайского языков) в единый класс *wagp,* что буквально означает «японские слова». Они противопоставлены двум позднее появившимся классам лексики, о которых будет сказано ниже.

Дальнейшая история Японии имела ряд особенностей, повлиявших на языковое сознание в стране. Сформировавшийся в первые века новой эры японский этнос продолжал жить на той же территории без значительных ее изменений. Исключение составляла лишь постепенная экспансия на север за счет айнов, продолжавшаяся вплоть до XIX в. (лишь тогда была заселена большая часть Хоккайдо). Особая ситуация также наблюдалась на островах Рюкю, но эта территория всегда была периферией. Вплоть до XIX в. не было японской экспансии на континент, а до середины XX в. – вторжения на острова извне (если не считать двух неудачных попыток со стороны монголов в 1274 и 1281 г.). Как отмечают исследователи (см., например, [Gottlieb 2005: 18]), в Японии, в отличие от других азиатских стран, никогда не стояла проблема защиты своего языка от колонизаторов. Японский язык безраздельно господствует в Японии на протяжении почти двух тысячелетий. Первичные австронезийские и алтайские языки исчезли, айнский язык был оттеснен на далекую периферию, а иммигрантских общин до XX в. не существовало. Это, однако, никогда не означало однородности использовавшихся в Японии языковых образований. Наоборот, диалектные различия всегда там были значительными, о чём мы будем говорить в пятой главе. Но отличие языка от диалекта в большинстве случаев определяется не объективными языковыми различиями, а субъективным этническим сознанием (при наличии литературной нормы также границами ее распространения). И все имевшиеся на Японских островах (исключение – отчасти Рюкю) языковые образования всегда рассматривались как варианты японского языка (с позднего средневековья установился термин *hoogen,* буквально *сторонний язык,* который в период европеизации стал считаться эквивалентом термина *диалект).* А разные виды нормированного языка, употреблявшиеся в Японии, никогда до конца XIX в. не использовались за ее пределами. Этим японский язык в том или ином варианте всегда отличался от таких языков как латинский, греческий, церковнославянский, санскрит, классический арабский, китайский вэньянь, обслуживавших целые культурные ареалы, населенные разными этносами.

Однако японский язык существовал не в культурной изоляции. Определяющим для его развития на длительный период (более тысячелетия) стало влияние китайского языка, связанное с общим культурным влиянием Китая на Японию.

1.2. Эпоха китайского влияния

У японцев не было письменности до знакомства с китайской иероглификой. Первое появление китайских письмен в Японии относят к!в. н. э., а древнейший сохранившийся иероглиф, написанный японцем, – к ГУв. К тому времени, очевидно, уже были японцы, умевшие писать по-китайски. Однако собственно японские памятники в небольшом количестве фиксируются лишь для VII в., а первый памятник крупного размера – «Кодзики» появился в начале \ТПв. (общепринятая дата 712 г.). К этому времени освоение китайской письменности в Японии в основном завершилось. Вместе с иероглифами в язык вошли и их чтения, подвергшиеся фонетическим преобразованиям. Образовался, а затем значительно развился слой китайской по происхождению лексики, именуемый *kangp,* буквально «китайские слова».

В течение VIII в. появляется уже несколько крупнейших памятников, причем сразу в разных жанрах. Создаются многотомные исторические хроники – «Кодзики» и «Нихонсёки» (включающие также, особенно первый из них, мифологию и фольклор), географические и одновременно деловые сочинения – земельные описи «Фудоки», синтоистские молитвословия «Норито» и, наконец, поэтическая антология «Манъёсю», включившая в себя 4516 стихотворений. Художественная литература того времени ещё была только поэтической, опираясь здесь на традиции бесписьменной эпохи. Ни драматургии, ни прозы в обычном смысле ещё не было (хотя «Кодзики» включает в себя легенды и сказки).

В это время письменность в Японии была чисто иероглифической. Поэтому для большинства памятников (кроме «Манъёсю») нелегко решается вопрос о том, на каком языке они написаны. Например, в отношении «Кодзики» разброс мнений исследователей очень велик: одни считают его памятником китайского языка, другие – памятником японского языка, третьи относят его к некоторому промежуточному образованию, четвертые выделяют разные языковые слои [Черевко 2004: 14–18]. Современный исследователь приходит к выводу: «Текст «Кодзики» воплощает в себе особенности двух языков, записанных иероглифами, – японского и китайского, имеющих разную структуру» [Черевко 2004: 57].

Освоение китайской письменности и лексики было частью общего культурного влияния Китая на Японию. Важно учитывать, что политически Япония никогда не подчинялась Китаю, а решающим фактором культурного процесса было не давление извне, а желание самих японцев взять от китайской культуры то, что им было нужно. Как дальше мы увидим, внутренние, а не внешние факторы определяли соотношение исконного и заимствованного в японской культуре и позже. И еще одна важная особенность влияния китайского языка на японский: его письменный характер. В любую историческую эпоху знание китайского языка в Японии было знанием письменного языка, а говорить по-китайски не мог практически никто. Никогда не было значительного японско-китайского двуязычия [Loveday 1996: 213]. Поэтому даже тексты, созданные в Китае, читаться вслух могли лишь по-японски, а попытки японцев писать по-китайски неизбежно связывались с языковой интерференцией. Освоение китайской культуры, включая языковую культуру, шло через книгу, а не через человеческое общение.

В течение VIII в. боролись две тенденции: писать на китайском языке и приспособить заимствованную письменность к своему языку. Две тенденции распределялись жанрово: на одном полюсе оказывалась максимально китаизированная по языку хроника «Нихон-сёки», писавшаяся по образцу китайских хроник. Японские авторы таких сочинений думали, что пишут на китайском языке, на деле это было не совсем так. На другом полюсе находился первый крупный литературный памятник – «Манъёсю», в котором большинство стихов сочинено по-японски, а для их записи использовали иероглифы, подобранные фонетически (так

называемая манъёгана). Фрагменты такого рода записи встречаются и в других памятниках. Манъёгана– первый этап преобразования китайских иероглифов в японское фонетическое письмо – кану. Дальнейшая стандартизация и упрощение начертаний фонетических знаков шли ещё более столетия и привели к формированию в начале X в. двух основных видов каны – хираганы и катаканы, используемых до наших дней.

Если в VIII в. могли появляться памятники, в которых сосуществовали японский и японизированный китайский языки, то с IX–X вв. эти два языка окончательно разделились по функциям. Сформировались *камбун* и *вабун* (буквально соответственно 'китайское письмо' и 'японское письмо'). Их различие было одним из проявлений различия двух сосуществовавших в Японии культурных парадигм. Эталоном высокой культуры считался Китай, при этом период активных связей с Китаем закончился довольно быстро, а освоение китайской культуры шло лишь через книгу. Тексты на камбуне, как и предшествовавшие им тексты, отличались от собственно китайских: помимо особенностей, связанных с интерференцией, они отличались тем, что снабжались специальными знаками, позволявшими их читать по-японски. Непременным атрибутом камбуна были значки, указывавшие на добавление японских грамматических элементов, не имеющих параллелей в китайском языке, и на изменение порядка слов, сильно различающегося в двух языках. Камбун активно использовался на протяжении тысячелетия (с IX по XIX вв.) и структурно мало менялся, хотя могли меняться его жанровые характеристики. Всё это время составлялись иероглифические словари, рассчитанные именно на чтение камбуна, а не собственно китайских текстов [Suzuki 1993: 83]. Камбун в течение всего длительного периода своего существования был составной частью японской культуры, а не внешним явлением.

В эпоху Хэйан (IX–XII вв.) две культурные парадигмы распределялись, прежде всего, с точки зрения разграничения высокого и низкого. Такое разграничение не во всём совпадало с тем, к чему мы привыкли. Если в России издавна канцелярские тексты считались скорее низкими (в XVI–XVII вв. «приказный язык» отличался от господствовавшего в высоких сферах церковно-славянского языка, а в близкое нам время образованные люди презирали «канцелярит», по выражению К. Чуковского), то в Японии жанры императорских эдиктов и деловой переписки всегда относились к высоким. Здесь господствовал камбун, как и в сфере науки. А вот традиция поэзии на камбуне не получила значительного развития.

Вся сфера художественного творчества (с конца IX в. включавшая и прозу) считалась легким занятием, развлечением. Именно поэтому в нее были допущены женщины, ставшие авторами самых значительных прозаических произведений X–XI вв. («Повесть о Гэндзи», «Записки у изголовья», известные и у нас), немало было и женщин-поэтов. Уже тогда проявлялись значительные различия между мужской и женской речью, существующие в Японии даже сейчас. Во всех художественных жанрах господствовал *вабун,* тексты писались на чистой или почти чистой кане (для женщин считалось неприличным знать иероглифы), в лексике господствовали исконные слова (ваго) при очень небольшом числе заимствований из китайского языка (канго). Язык таких сочинений уже отличался от разговорного языка эпохи Хэйан, но полного расхождения (которое требовало бы, например, специального обучения вабуну) не было.

С XIII в. литература на вабуне (переставшая быть женской) значительно изменилась, в ней всё большее место занимали канго. Как писал Н. И. Конрад, в это время «идет упадок чисто японского языка: китаизмы внедряются в него всё глубже и глубже; значительно меняется самый строй речи, меняется и лексика; постепенно происходит слияние, взаимное приспособление двух языковых стихий, китайской и японской друг к другу. В результате мы получаем так называемый *канва-тёва-тай,* т. е. китайский и японский язык в их гармоническом сочетании. Этот язык в свое время также превратился в прекрасное орудие словесного искусства и дал целый ряд совершенных образцов художественной литературы, но

только уже иного стилистического типа» [Конрад 1974: 237]. Вабун превращается в *бунго* – письменный по преимуществу язык культуры, значительно отличавшийся от разговорных диалектов. Этот язык был жанрово разнообразен: помимо прозы и поэзии появилась драматургия, а буддийская литература стала сочиняться и на бунго наряду с камбуном. На бунго в основном писали, но было возможно и его устное функционирование: в театре, в богослужении, тогда как камбун мог быть только письменным языком. Если же возникала потребность тексты на камбуне читать вслух, их обычно произносили на бунго. Бунго и кам-бун были единственными общеяпонскими формами существования языка. Типологически их (в первую очередь, бунго) можно сопоставить с такими языками культуры как латынь, церковнославянский или санскрит. Но только в обособленной островной Японии язык культуры обслуживал лишь один этнос. И таких языков было даже два, поскольку камбун отличался от собственно китайского языка культуры (вэньяня).

К тому времени значительное количество канго преобразовало систему японского языка. При этом не надо думать, что все канго – заимствования из китайского языка в готовом виде. Такая лексика составляет меньшинство данного слоя. Чтение иероглифа в японском языке, как правило, представляет собой корень (некоторые корни превратились в аффиксы). Эти корни обладают большим словообразовательным потенциалом, и в течение многих веков простым соположением корней создавались и создаются до сих пор новые слова, тесно связанные с их иероглифическим написанием. Большинство канго появились в Японии, нередко они либо неизвестны в Китае, либо заимствованы в китайский язык из японского.

Хотя канго подверглись фонетической адаптации (в частности, по сравнению с китайским языком исчезли тоны, отпало большинство конечно-слоговых согласных), а грамматически стали оформляться по правилам японского синтаксиса, эта адаптация не дошла до такой степени, чтобы они стали фонетически или грамматически неотличимы от ваго. В области фонетики в связи с появлением кан-го в японском языке возникли геминация согласных, их палатализация, конечно-слоговая носовая фонема, долгота гласных, дифтонги. Еще более существенны различия в фонетической структуре корней и аффиксов: эта структура для канго является исключительно жесткой, их общее количество (разумеется, без различения омонимов) крайне невелико: около 800 единиц [Алпатов, Вардуль, Старостин 2000: 102–116]. Не всегда, но очень часто по фонетической структуре слова можно определить, относится ли оно к канго или ваго. Различия сохраняются и в грамматике. Есть грамматические элементы китайского происхождения, хотя их немного. Но важнее то, что в подсистеме канго легко образуются так называемые сцепления – последовательности корней сколь угодно большой длины, часто окказиональные; вопрос о том, считать ли их словосочетаниями или сложными словами, весьма запутан в японистике. По правилам японского синтаксиса сцепления оформляются лишь как единый член предложения. О лингвистических свойствах канго см. [Алпатов 1976; 2002].

Китайское влияние, прежде всего, было лексическим, однако сохранялось и немало исконных слов, а грамматика в основном (исключая сцепления) оставалась японской. Но самые очевидные различия между двумя подсистемами, существующие со средних веков до нашего времени, – это различия жанрово-стилистические, тесно связанные с японской культурой. В большинстве случаев ваго – бытовые, обиходные слова, а канго – слова книжные, свойственные стилям, связанным с культурными сферами, и в большинстве неотделимые от иероглифического написания. В бытовую же речь канго проникали лишь в малой степени. В целом, как отмечают исследователи, при определенных изменениях под влиянием китайского языка японский язык остался самим собой [Stanlaw 2004: 126].

Следует учитывать, что язык – один из немногих действительно исконных компонентов японской культуры. Как известно, в Японию из Китая (прямо или чаще через Корею)

пришли и государственное устройство, и буддизм, и многие элементы культуры, считающиеся сейчас у нас и на Западе специфически японскими (от боевых искусств до икебаны и чайной церемонии). Заимствована была иероглифическая письменность, но всё-таки язык остался японским, да и письменность значительно японизировалась благодаря кане. Этот факт значительно повлиял на языковые воззрения японцев, о чём будет говориться в следующей главе.

В конце XVI в. в Японию начали проникать первые европейцы, в основном португальцы, а также испанцы, распространявшие христианство и западную материальную культуру. Это событие значительно повлияло на японскую языковую культуру в двух отношениях. Во-первых, в Японии впервые осознали существование других языков помимо японского и китайского (ранее благодаря буддизму знали о существовании санскрита, но он влиял на японский язык лишь через китайский, а корейский язык имел влияние на японский в дописьменный период, но позже стал игнорироваться). Португальцы переводили на японский язык христианскую и некоторую другую литературу (например, басни Эзопа). Это были первые в Японии переводы не с китайского языка, не связанные с камбуном [Suzuki N. 2007: 67]. Впервые тогда японцы познакомились и с латинским письмом. Во-вторых, в языке появились первые заимствования из западных языков. Они делились на два класса: торговую и религиозную лексику; торговая лексика (только имена) записывалась иероглифами, а религиозная (включавшая и глаголы, прилагательные: *молиться, невинный* и др.) латиницей, поскольку ее надо было строго отделять от ваго и канго [Matsuoka 1993: 138–144].

Но первое знакомство с европейской культурой оказалось непродолжительным. Борьба за централизацию страны и против иноземной экспансии привела к тому, что захватившая власть в начале XVII в. династия военных правителей (сёгунов) Токугава запретила христианство, изгнала европейцев и превратила Японию в закрытую страну. Японцы не могли покидать Японию, а иностранцы (преимущественно голландцы) допускались туда крайне ограниченно, не имея права общаться с японцами. Такая ситуация продолжалась более двух столетий. Христианская лексика исчезла (после разрешения христианства во второй половине XIX в. она создавалась заново), но торговая лексика во многом сохранилась. Пришедшие из португальского слова *pan* 'хлеб', *botan* 'пуговица', *biroodo* 'бархат' живут в японском языке более четырех столетий, и даже название специфически японского блюда *tempura* восходит к португальскому *tempero* 'умеренный'. Заимствование слов из западных языков, более всего из нидерландского, продолжалось и в период закрытой Японии. Это были либо также слова торговой лексики (существующие до сих пор *koohii* 'кофе', *garasu* 'стекло' и др.), либо термины наук, литература по которым допускалась к ввозу в Японию, в частности, медицины. Отмечают, что уже в те годы в Японии выработалась привычка к европейским заимствованиям [Matsuoka 1993: 151].

В культурной области период закрытой Японии стал временем активного развития литературы, искусства и национальной науки. Именно в это время складывалась национальная школа ученых *koku-gaku* (буквально *наука страны),* впервые в японской истории поставившая вопрос о национальной самобытности и исконных элементах культуры японцев. Эти ученые обратились к исконным компонентам культуры, которых оказалось лишь два: синтоизм и язык. В рамках этой школы сформировалась национальная традиция японского языкознания, независимая от китайской традиции; см. об этом [Алпатов, Басс, Фомин 1981]. Ученые того времени игнорировали канго, считая их чуждыми «японскому духу», занимаясь исключительно ваго.

1.3. Эпоха американского и европейского влияния

В 1854 г. вторжение американской военно-морской эскадры прекратило изоляцию Японии, после чего туда стали активно проникать западные товары и идеи. Под влиянием этого в 1867–1868 гг. произошла так называемая *Meiji-ishin,* что у нас переводят или как «революция Мэйдзи», или (буквально) как «реставрация Мэйдзи» (формально переворот выглядел как реставрация императорской власти). Началась эпоха Мэйдзи (1868–1912), названная по имени правившего тогда императора. Был взят курс на развитие капитализма и на освоение европейской культуры. За несколько десятилетий японское общество коренным образом изменилось.

Эти процессы не могли не повлиять и на область языка. Прежние литературные языки, особенно камбун, оказались непригодными для новой ситуации. Нужен был новый, единый и общепонятный язык. Подобные процессы происходили во многих странах: ср. переход от латыни к «вульгарным» языкам в Европе, от церковнославянского языка к русскому литературному в России, от вэньяня к путун-хуа в Китае. Особенностью Японии было, однако, то, что этот процесс был пройден очень быстро, менее чем за половину столетия.

На первом этапе отказались от камбуна: он перестал использоваться в официальной документации, а к концу XIX в., после японо-китайской войны 1894–1895 гг. значительно сократилось его преподавание. Именно тогда традиционное обучение китайской учености окончательно ушло в прошлое [Sanada 2002: 486–487]. Санада Харуко отмечает, что влияние камбуна, проявлявшееся в употреблении канго, еще заметно у писателей, родившихся в 60-е гг. XIX в. (Нацумэ Сосэки, Мори Огай), но исчезает у следующего поколения писателей (Сига Наоя, Акутагава Рюносукэ), уже свободно им не владевших [Sanada 2002: 481]. Обучение камбуну в средней школе сохранилось до наших дней, но им в лучшем случае владеют лишь пассивно, новые тексты не создаются.

Сфера употребления бунго в начале периода Мэйдзи даже расширилась, поскольку на нем стали писать деловые документы, а введение всеобщей системы школьного обучения сделало его общим достоянием. Однако к середине 80-х гг. XIX в. пришло осознание необходимости нового литературного языка на разговорной основе [Gottlieb 2005: 8]. Борьба за такой язык, по функции сходный с уже сложившимися к тому времени европейскими национальными языками, шла и сверху, и снизу. Писатели и языковеды с 80-х гг. XIX в. активно выступали за *gembun-itchi,* то есть за единство разговорного и письменного языка, деятели этого движения создали образцы художественной прозы на новом языке. Подробнее об этом движении см. [Конрад 1954; Конрад 1960]. Но и японская власть к концу века осознала важность данной проблемы. При Министерстве просвещения был в 1902 г. сформирован Совет по изучению японского языка *(Kokugo-choosa-iinkai),* к деятельности которого были привлечены видные лингвисты, в частности, Уэда Кадзутоси (1867–1937), учившийся в Европе и ориентировавшийся на западный опыт [Gottlieb 2005: 55–58]. Новый литературный язык на разговорной основе в противоположность бунго получил наименование *koogo* (буквально 'устный язык'). Первая нормативная грамматика этого языка появилась в 1916 г.

Этот язык постепенно охватил все культурные сферы. Довольно быстро на него перешли художественная проза и появившаяся во второй половине XIX в. пресса, а уже в XX в. – радио. Гораздо сложнее шел переход на него в сфере науки, в поэзии. Устойчивее всего прежний литературный язык (бунго) оставался в сфере деловой письменности. Всю первую половину XX в. бунго «долго и нераздельно властвовал в официальной и деловой сфере, где все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией о приеме белья в прачечную» [Конрад 1954: 26]. Лишь после 1945 г. и здесь началось использование современного литературного языка. Подробнее см. [Конрад 1960; Алпатов 1995].

Специально рассмотрим один частный вопрос языковой культуры. В Европе, даже в самодержавной России тексты, созданные царями и императорами, не считались образцами «хорошего» языка (впрочем, во Франции времен Людовика XIV так рассматривалась разговорная речь короля, но это не относилось к королевским указам). А в Японии вплоть до второй мировой войны во всех школах выучивали наизусть написанный на бунго указ императора Мэйдзи об образовании, установивший всеобщую систему начального школьного обучения.

Причин, как нам кажется, было по крайней мере две. Во-первых, в России монарх (реально обладавший гораздо большей властью, чем японский император) не был сакральной фигурой. Это был «сильный и славный», но человек, и от него нельзя было требовать, например, обязательного литературного таланта. В Японии же до 1945 г. официально принималась концепция божественного происхождения императора, и всё, исходившее от него, по определению считалось высшим.

Другая причина была в разной иерархии жанров. В России, как и в Европе, самыми престижными текстами сначала считались религиозные, потом художественные, а язык официальных документов всегда рассматривался как не очень «высокий», даже если исходил из высших сфер. В Японии же в иерархии жанров выше всего стоял язык официальных текстов, прежде всего, исходивших от императора. Показательно, что их писали на самом престижном из использовавшихся языков. Веками их писали на камбуне, который ценился выше, чем бунго, а после отмены камбуна—на бунго.

Другим процессом, активно развернувшимся начиная с эпохи Мэйдзи, стало освоение западной культуры, частью которого стало влияние на японский язык западных языков, прежде всего английского. Эта проблема сразу приобрела два аспекта, которые в Японии весь последующий период не шли параллельно друг другу: освоение западных языков и заимствования из этих языков в японский.

С 50—60-х гг. XIX в. начался период интенсивной европеизации Японии, сначала большей частью через устное общение с бывавшими там иностранцами, особенно с американцами и англичанами, число которых резко возросло. Такое общение естественно привело к формированию японо-английских пиджинов, распространившихся в Иокогаме и других портовых городах [Stanlaw 2004: 57–59]. До сих пор в японском языке сохранились слова, пришедшие в это время из английского языка устным путем и воспринятые на слух, вроде *purin* 'пудинг' из *pudding* или *mishin* 'швейная машина' из *machine.*

Однако такой вид культурных контактов не стал определяющим, а пиджины к началу XX в. постепенно исчезли. Снова они возродятся, уже на другой основе, в период оккупации для общения американских военных с местным населением (так называемый бамбуковый английский), но и тогда окажутся недолговечными [Stanlaw 2004: 70–72]. Ведущую роль уже в эпоху Мэйдзи, как и позже, стало играть освоение западной книжной культуры, связанное с обучением иностранным языкам в учебных заведениях и письменными заимствованиями.

Существовало разное понимание границ этого освоения, в том числе и в языковой области. Для некоторых деятелей японской культуры европеизация казалось неотделимой от овладения западными языками, в первую очередь английским. В крайнем варианте предлагалось отказаться от японского языка, в более умеренном варианте речь шла о массовом японо-английском двуязычии. До начала XX в. во впервые созданных в Японии университетах западного типа преподавание частично или даже полностью шло на английском языке. Видный государственный деятель эпохи Мэйдзи Мори Аринори всерьез думал о замене японского языка английским и даже переписывался по этому поводу с крупнейшим американским лингвистом тех лет Д. Уитни, который отнесся к таким планам скептически [Stanlaw 2004: 64–65].

Однако на деле не только не реализовались подобные утопии, но не сложилось и массовое двуязычие; иностранные языки, в это время не преподававшиеся в школе и изучавшиеся лишь в вузах, остались достоянием узкого слоя культурной элиты; по мнению Судзуки Такао, их до 1945 г. знали 1–2 % населения [Suzuki 2006: 232]. Победил более естественный для Японии вариант, при котором не происходило резкого обрыва традиций, а заимствованные знания становились составной частью японской культуры. Так это в прошлом произошло с китайскими знаниями, теперь наступил черед натурализации западной культуры, включая языковую культуру. Стояла задача освоить новые понятия, выразив их на японском языке. Для этого существовали два способа: прямое заимствование и калькирование с помощью вновь создаваемых или переосмысляемых канго.

В период с 60-х гг. XIX в. по 20-е гг. XX в. в японский язык вошло много слов, заимствованных из западных языков, в этот период они стали стандартно именоваться *gairaigo,* буквально 'слова, пришедшие извне', отделяясь и от ваго, и от канго. При этом в Японии осваивалась культура разных стран, а заимствования из того или иного языка отражали престиж соответствующей страны в той или иной области: Франции в моде, Италии в музыке, Германии в философии [Shibata 1993: 19]. Традиция ориентироваться на Германию в медицине сохранялась очень долго, и даже в 70-е гг. XX в. немецкий язык в Японии мог играть роль медицинской латыни (мы видели рецепты на этом языке); естественно, в японском языке в данной сфере много заимствований из него. Среди влиятельных языков был и русский (см. главу 6). Но уже к концу эпохи Мэйдзи 75 % всех гайрайго составляли заимствования из английского языка [Stanlaw 2004: 68]. Так что преобладающее влияние этого языка на японский обозначилось задолго до оккупации. При этом Япония не была ни британской или американской колонией, ни страной, зависимой от Великобритании или США, а мировая роль английского языка тогда еще не была столь значима, как позже. Но Япония уже в конце XIX в. и в первой половине XX в. столкнулась с процессами, которые в наши дни принято называть глобализацией. По выражению Судзуки Такао, во времена Мэйдзи *kangaku* (наука, изучавшая китайские тексты и китайскую культуру) превратилась в *eigaku* (науку об английских текстах и англоязычной культуре) [Suzuki 2006: 230]. Посетивший Японию в 1926 и 1932 гг. советский писатель Б. А. Пильняк замечал, что Япония не европеизируется, а американизируется [Пильняк 1935: 76]. Отличие данного периода от послевоенной эпохи, однако, состояло в том, что заимствования могли приходить в японский язык не только из американского, но и из британского варианта английского языка.

Однако прямое заимствование оказывалось не единственным способом образования новой лексики. С ним, особенно в первые десятилетия европеизации, конкурировало использование уже существующих средств своего языка, то есть создание калек или слов, отражавших новое понятие в своей морфемной структуре. Для этого использовались почти исключительно канго. К этому времени японская культура уже давно обособилась от китайской, и канго использовались в Японии вне какого-либо отношения к Китаю, как органичные элементы своего языка, удобные для образования новой культурной лексики.

Причин удобства канго для этих целей было как минимум две. Во-первых, корни китайского происхождения кратки и обладают почти безграничными возможностями комбинирования, из них легко создаются сложные слова, нередко окказиональные, или последовательности сколь угодно большой длины—сцепления, упоминавшиеся выше. Значения сложных канго часто прозрачны: если знать, что *raku* значит 'падать', *ka* – 'низ', а *san* – 'зонт', то нетрудно догадаться, что *rakkasan* из *raku* + *ka* + *san* значит 'парашют'. А корни ваго обычно длиннее и имеют ограниченные словообразовательные возможности.

Вторая причина – культурно-стилистическая. В большинстве случаев ваго – бытовые, обиходные слова, иногда слова, связанные с традиционными ремеслами, искусствами, в том числе с поэзией, в них сильны эмоциональные компоненты значения, а канго – слова книж-

ные, свойственные стилям, связанным с культурными сферами. Такое различие сложилось исторически и представляет собой инвариант японской культуры на протяжении многих веков. Как указывает современный японский автор, ваго создают ощущение привычности и укорененности того или иного понятия, тогда как канго ассоциируются с новым, ранее не виданным. Именно поэтому, по его мнению, ваго не применялись в эпоху Мэйдзи для формирования новой культурной лексики, тогда как канго были одновременно незнакомы и понятны по значению; играла роль и эмоциональная нейтральность канго [Takiura 2007в: 7–8]. К тому же создание терминов – сложных канго, особенно в первые десятилетия европеизации, когда еще сохранялось влияние камбуна, опиралось на многовековую традицию создания таких терминов в камбуне, часто использовались те же самые модели [Sotoyama 1993: 55; Sanada 2002: 476–480].

В данный исторический период окончательно сложилась такая важная особенность японского языка как обилие синонимов (точнее, квазисинонимов): имеется много пар сходных по значению ваго и канго. Часто они либо записываются тем же иероглифом, по-разному читаемым, либо ваго пишется одним иероглифом, а канго—двумя иероглифами, один из которых тот же самый. Однако замена одного синонима на другой чаще всего невозможна в связи со стилистическими факторами. Слишком часто близкие по значению канго и ваго относятся к разным сферам. Например, эквивалентом русского *сердце* обычно считается японское ваго *kokoro.* Однако это обиходное слово издавна соответствовало переносным значениям соответствующего русского слова (переводиться может и как *дух* или *душа).* Сердце же как человеческий анатомический орган – канго *shinzoo* (слово, появившееся лишь в XIX в.). Если речь идет о конкретном человеке, то обычно употребление ваго *hito,* но человек как биологический вид—только канго *ningen.* Ваго *kotoba* может значить и *слово,* и *речь,* и *язык,* но в обиходной речи, а не в качестве лингвистического термина. В терминологическом же значении *слово – go* или *tango, язык – gengo,* всё это канго. При этом *kokoro* и *shin* в *shinzo* пишутся одним и тем же иероглифом, как и *hito* и *nin* в *ningen, kotoba* и *gen* в *gengo.* Среди канго есть и обиходные, часто обозначающие явления культуры, известные каждому носителю языка: *denwa* 'телефон', *sooshiki* 'похороны' и др., но они составляют меньшинство. А среди культурной, в том числе терминологической лексики встречаются лишь отдельные ваго: пример – *kabu* – (биржевая и пр.) 'акция' (исходное значение – *пень).*

Однако канго обладают одним большим недостатком: они часто с трудом понятны на слух, поскольку в их подсистеме очень велика омофония. Например, в «Большом японско-русском словаре» имеется 23 слова с разными значениями и одинаковым звучанием *kooshoo* [БЯРС, 1: 484]. На письме все эти слова трудностей не вызывают, поскольку пишутся разными иероглифами. Это не было недостатком в чисто письменном камбуне и не особенно затрудняло освоение европейской культуры в эпоху Мэйдзи, когда оно шло преимущественно книжным путем. Но распространение устных средств передачи информации, в том числе появившегося в 20-е гг. XX в. радио, стало ограничивать применение сложных канго.

До 20-х гг. заимствования и вновь созданные канго постоянно конкурировали между собой. Но в целом имелось не всегда последовательно проводившееся разграничение: заимствования чаще обозначали новые для японцев предметы материальной и бытовой культуры, а новая научная, политическая и пр. культурная лексика большей частью формировалась путем создания новых канго.

В 20-х гг. XX в. началась эпоха господства японского национализма и милитаризма. В этот период языковая норма отличалась крайним консерватизмом, и терпели неудачу все попытки ее модернизации (например, реформирования орфографии нового литературного языка, основанной в то время на орфографии бунго) [Kurashima 1997, 1: 53–55]. Это была и эпоха ограничения заимствований, достигшая предела в годы войны, когда запрещались

заимствования из иностранных языков, кроме языков союзников Японии—немецкого и итальянского [Gengo-seikatsu, 1984, 7: 76]. Например, для бейсбола (игра, популярная там примерно так же, как футбол у нас) было тогда придумано канго *yakyuu* (составлено из морфем со значением 'поле' и 'мяч') которое хорошо прижилось; впрочем, все прочие бейсбольные термины так и остались американскими по происхождению.

После поражения Японии во второй мировой войне, во время американской оккупации (1945–1952) начался новый этап европеизации японской культуры и японского языка, принявший вид американизации (он будет рассмотрен в главе 6). После войны также прошел ряд реформ литературного языка, в частности, орфографических, в большинстве разработанных еще до войны, но осуществленных лишь в эпоху социальных перемен (ср. сходную историю орфографической реформы в России). О реформах и их последствиях для современной Японии будет сказано в главах 7 и 9.

Таким образом, могут быть выделены некоторые константы японской языковой культуры, в ряде случаев несколько видоизменившиеся в последние полтора столетия. Это географическая и генетическая обособленность японского языка, необычно долгое совпадение государственных, этнических и языковых границ, длительность и существенность контактов чисто письменного характера с китайским языком, формирование внутри системы языка подсистем ваго и канго, к которым в последние столетия добавилась третья подсистема гайрайго. К ним могут быть добавлены и такие константы как роль этикета в японской языковой культуре и особое место в ней письменности; их, однако, целесообразно рассмотреть в отдельных главах (соответственно 7 и 9).

Как известно, бытие определяет сознание, хотя сознание может отражать бытие весьма неадекватно. Кратко перечисленные в данной главе объективные, исторически сформировавшиеся рамки, в которых существовал и существует японский язык, отражаются не только в японской науке и науке других стран, но и в воззрениях, суждениях и стереотипах самих носителей языка. Все эти отражения также являются частью языковой культуры. Этот вопрос мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 2
ВОЗЗРЕНИЯ ЯПОНЦЕВ НА ЯЗЫК. ЯЗЫКОВЫЕ МИФЫ

В данной главе рассматриваются массовые представления японцев (как обычных людей, так и многих профессиональных лингвистов) о своем языке. Языковые мифы и предрассудки отражаются не только в бытовых представлениях японцев, но нередко и в сочинениях, претендующих на научный статус. Эти сочинения входят в число многочисленных публикаций в области так называемого *nihonjinron,* что буквально значит 'учение о японцах'. Они включают в себя разнообразную гуманитарную проблематику, включая этнографическую, культурологическую, лингвистическую, фольклористическую, историческую; иногда даже затрагиваются проблемы антропологии (в традиционном для России смысле этого термина) или нейропсихологии. Число таких публикаций очень значительно: лишь за период с 1976 по 1978 гг. вышло почти 200 книг в этой области [Dale 1986: 15]. Работы в данной области отличаются большой неоднородностью: откровенное мифотворчество соседствует в них с интересными фактами, а иногда и с разумными наблюдениями. Как выразился один американский японист, такие работы представляют собой смешение фольклора с научной информацией [Johnson 1993: 96]. О них нам придется говорить и в следующей главе в связи с вопросом о японской языковой картине мира.

Конечно, в таких случаях трудно разграничить представления, возникающие стихийно, на бытовом уровне (в Японии они могут отражаться и у профессионалов), и влияние политики, сознательно направленной на формирование тех или иных массовых представлений. Ряд западных исследователей считают работы по *nihonjinron* исключительно средством пропаганды японских правящих кругов, продолжающим традиции времен национализма и милитаризма. Особенно последовательно такая точка зрения проведена в двух книгах, появившихся в 80-е гг. [Miller 1982; Dale 1986]. Оба автора (американец и англичанин) резко оценивают всё данное направление, считая его антинаучным. Впрочем, они поразному характеризуют цели политики японской власти: Р. Э. Миллер акцентирует внимание читателя на японском национализме, доходящем до расизма, а П. Дейл, находящийся, как указывается в предисловии к книге [Stockwin 1986: 5], под влиянием неомарксизма, видит суть проблемы в поддержании социального господства. Резко отрицательное отношение к *nihonjinron* видно и в других исследованиях [Moeran 1989: 14–15; Stanlaw 2004: 13; Gottlieb 2005: 4–5]. С другой стороны, вне Японии распространено и некритическое отношение к такого рода работам, примером может служить статья [Wierzbicka 1991], к которой мы вернемся в следующей главе.

В критике японских работ, посвященных особенностям японской языковой культуры или картинам мира, безусловно, есть большая доля истины. Бесспорно то, что они формируют (прямо или косвенно через школу или средства массовой информации) воззрения обычных японцев на язык, создают и поддерживают языковые мифы. Но представляется, что процесс является более сложным и, что важно, двусторонним. Сочинения по *nihonjinron* не только формируют воззрения и мифы, но и отражают некоторые стихийные, бытовые взгляды носителей языка, многие из которых восходят к временам, когда никакого *nihonjinron* не существовало (этот жанр в современном виде сложился примерно в конце 60-х гг. XX в.). Эти взгляды, как и сами сочинения по *nihonjinron,* отражают, как признает и Р. Э. Миллер [Miller 1982: 21], некоторую «крупицу правды», но фантастически преувеличенную и сильно искаженную. Безусловно, те исторически сложившиеся свойства языковой культуры, о которых шла речь в предыдущей главе, как-то осознаются ее носителями. И в их

представлениях могут присутствовать и отражения реальности, и откровенная мифология, и желание верить в неповторимость и особые свойства своего народа.

Рассмотрим некоторые стандартные представления японцев о своем языке и своей культуре.

2.1. Важность языковых проблем

Среди стран мира Япония выделяется массовым интересом своих жителей к вопросам языка. На это обращали внимание наблюдатели из других стран. Р. Э. Миллер писал, что нормальное отношение к языку—не замечать его; мы все настолько заняты, что не можем терять время, обращая внимание на собственный язык; лишь японцы да еще французы поступают иначе [Miller 1982: 3–4]. Отмечают даже, что в ничего не значащей беседе японцы могут говорить не только о погоде, но и о языке [Shibata 1984: 2]. Рассуждения про язык встречаются в рекламе. Ведущие газеты вроде «Асахи» могут посвящать передовые статьи обсуждению вопросов орфографии. По первому каналу телевидения NHK в лучшее время, в 10 часов вечера по субботам могут пускать передачи о японском языке и даже лингвистические сериалы (в 1985 г. шел сериал «Первый год японского языка», где показывалось, как семья конца XIX в., поначалу говорившая на разных диалектах, выработала общий язык). В телешоу именитый профессор лингвистики может рассказывать веселые истории об иероглифах. Лингвистическая литература, даже специальная, хорошо раскупается и иногда возглавляет списки бестселлеров для non-fiction. Всё это не похоже на то, к чему привыкли и в США, и в России.

Особое внимание к вопросам языка характерно для японских работ, посвященных национальной культуре, уже давно, по крайней мере, со времени первой национальной школы ученых *kokugaku* XVII–XVIII вв. Всегда сказывалось то, что язык – один из немногих действительно исконных компонентов японской культуры. На это обратили внимание еще ученые *kokugaku,* но особое значение вопросы языка приобрели, по мнению Р. Э. Миллера, в годы американской оккупации, тогда окончательно сложился японский языковой миф [Miller 1982: 36]. Многим тогда казалось, что вся довоенная японская культура дискредитирована, и надо целиком перейти к западной системе ценностей. Известный писатель Сига Наоя даже считал желательным отказаться от японского языка (что, как упоминалось выше, предлагалось и в годы вестернизации в XIX в.). Такие предложения, конечно, нереальные, и сейчас любят вспоминать японские лингвисты. Однако тогда победили иные тенденции: для выхода из духовного кризиса полезно было опереться на какие-то политически нейтральные духовные ценности. И такой ценностью мог быть язык, который к тому же оккупанты с трудом усваивали, обычно не проявляя интереса к его изучению (черта, вообще свойственная американцам за границей). Тогда японцы могли бы сказать о себе то, что в других исторических условиях сказал В. В. Набоков: «Всё, что есть у меня, – мой язык!». В результате представления японцев о своем языке как национальном достоянии, не имеющем аналогов в мире и недоступном для иностранцев, еще более укрепились. С усилением экономической мощи Японии языковой компонент японского национализма дополнился многими другими, но не исчез, что отражается в публикациях по *nihonjinron.* Как будет сказано в следующей главе, нередко из внутренних свойств японского языка, как из базиса, японские авторы могут выводить особенности структуры своего общества.

2.2. Уникальность японского языка

Всё это—внимание не к языку вообще, а именно к своему языку, на иностранные языки оно не распространяется. Это внимание проявляется даже в названии собственного языка. Точнее, таких названий два. Обычно в том или ином языке его собственное название производно от названия государства и/или господствующего этноса. Япония – *Nihon* (или *Nippon),* язык как компонент сложных слов—go, естественно считать, что японский язык – *nihongo.* И такое название действительно есть, именно оно используется, если данный язык перечисляется в ряду других языков мира или противопоставляется другим языкам; оно единственно возможно, когда говорится об освоении этого языка иностранцами. Но чаще японцы называют свой язык *kokugo,* буквально *язык страны.* Этот термин не древний, как иногда думают, он появился лишь в эпоху Мэйдзи, когда Япония впервые включилась в международную жизнь [Kurashima 1997, 1: i]; до того японцам вообще не нужно было специально называть свой язык: он был просто язык (*kotoba).* Но и тогда, когда это слово стало важно, в его внутренней форме отразилось представление о том, что японский язык—не один из языков мира, а нечто особое. Как указывает австралийская японистка Н. Готлиб, если речь идет о японском языке как иностранном, он будет *nihongo,* если о родном языке – он *kokugo* [Gottlieb 2005: 15]. По мнению Хага Ясуси, если *nihongo* и стоящие с ним в одном ряду названия имеют объективное значение, то значение слова *kokugo* субъективно («наш» язык) [Haga 2004: 33].

Вопрос о соотношении названий *nihongo* и *kokugo* в последнее время активно обсуждается в Японии, причем к ним относятся по-разному. Сторонники именования *kokugo* пишут, что для японцев это не столько язык государства, сколько свой, материнский язык [Haga 2004: 33], часть самих себя [Ikegami 2000: 3]. Но у этого слова есть и противники, считающие, что в нем есть оттенок национализма [Endoo 1995: 22]. Резко против него выступает Курасима Нагамаса, связывающий обозначение языка как *kokugo* с эпохой довоенного национализма и милитаризма и считающий его несовместимым с интернационализацией Японии; по его мнению, пришло время переходить от *kokugo* к *nihongo* [Kurashima 1997, 1: vi]. Он отмечает и то, что если в японской школе до сих пор господствует название *kokugo,* то в ряде университетов курсы по японскому языку начинают переименовываться в курсы *nihongo* [Kurashima 1997, 1: viii] (об этом пишет и Н. Готлиб [Gottlieb 2005: 16]). В любом случае можно согласиться с Курасима в том, что для японца больше гордости в обозначении своего языка именно как *kokugo* [Kurashima 1997, 1: iii].

Особое внимание японцев к своему языку тесно связано с постоянным ощущением его уникальности. Об этом пишут многие японские языковеды, среди которых особо следует отметить патриарха современной японской социолингвистики Судзуки Такао (р. 1926), см., в частности, его недавнюю книгу «Сила языка» [Suzuki 2006]. Отмечают такие представления, обычно с отрицательным знаком, и иностранные авторы [Moeran 1989: 15].

Судзуки пишет, что Япония уникальна среди развитых стран мира, поскольку среди них более нет ни одной страны, где за 1500 лет один и тот же народ живет на одной и той же территории, защищенной морем, и говорит на одном и том же языке [Suzuki 2006: 19–20]. По его мнению, для англичан «Беовульф» – не вполне национальный памятник, так как английский язык после норманнского завоевания сильно изменился, тогда как близкое к нему по времени «Манъ-ёсю» для любого японца – свой памятник [Suzuki 2006: 150]. А Хага Ясуси считает, что если в Европе национальные языки сложились в последние столетия, то японский язык стал национальным намного раньше [Haga 2004: 30].

Действительно, как указывалось в первой главе, редко где так, как в Японии, совпадают множество носителей языка и население страны. И такому совпадению уже почти две

тысячи лет. Как раз в наши дни оно стало нарушаться (см. главу 6). Подобная ситуация не совсем уникальна (ср., например, Исландию), но и не так часта.

Согласно традиционным японским представлениям, быть японцем, жить в Японии и говорить по-японски – одно и то же. Это, конечно, не так, но совпадение больше, чем для других крупных языков мира. С одной стороны, из 126 миллионов жителей Японии люди, для которых родной язык – не японский, составляют меньше 1 % населения. С другой стороны, по-японски говорят и пишут почти исключительно в Японии; есть, правда, общины японских эмигрантов в США или Бразилии, но и там этот язык во многом вытеснен английским или португальским. Как выше отмечалось, чисто лингвистические различия между японскими диалектами могут быть значительными, дело иногда доходит до полного взаимного непонимания (особенно это относится к диалектам островов Рюкю), но всё равно носитель каждого из диалектов—японец, и единство языка как важнейшего признака японской нации всеми осознается. Ощущению отдельности, в том числе языковой, способствовало изолированное положение островной Японии.

Важно для японского языкового сознания и то, что японский язык изолирован не только географически, но и лингвистически, не имея близко родственных языков. Правда, в Японии в последние десятилетия появился ранее отсутствовавший интерес к «поискам корней», его появление иногда связывают с распространением с 60—70-х гг. поездок японцев за границу [Moeran 1989: 44]. И об алтайских, и об австронезийских прародителях иногда вспоминают. На ЭКСПО-85 в Японии был построен специальный павильон для показа фильма о том, как японская нация формировалась из смешения мирных рыболовов с воинственными кочевниками, осевшими на завоеванных островах. Впрочем, те или иные сведения о реальной древнейшей истории (основанные обычно на американских публикациях, работы С. А. Старостина там неизвестны) могут соседствовать с откровенной фантастикой. В 70-е гг. нашумела квазинаучная книга о языке лепча (реально существующий язык тибето-бирманской группы в Гималаях). В ней на основе нескольких случайных или вымышленных созвучий доказывалось даже не родство этого языка с японским, но его тождество древнеяпонскому языку «Манъёсю». Получила популярность несколькими годами позже и столь же бездоказательная версия о родстве японцев и дравидов. Отмечают, что такие публикации способствовали буму интереса широкой публики к лингвистике, который наблюдался в Японии в 70-хгг. [Kurashima 1997, 2: 117–118].

Но, безусловно, преобладают представления о языковом одиночестве японцев в мире. Помимо отсутствия близкородственных языков влияет и постоянное в Японии со времен Мэйдзи стремление сопоставлять собственную ситуацию с западной и ни с какой иной. Японские авторы постоянно указывают, что все, кроме Японии, страны «семерки», а затем «восьмерки» обладают родственными друг другу языками (а также общими расовыми признаками и христианской религией), и лишь Япония выпадает из ряда. Судзуки Такао даже пишет, что большинство языков, культур, религий родственны и лишь мы, японцы, одиноки [Suzuki 2006: 73–74]. О мире за пределами узкого круга развитых стран при этом могут и не вспоминать.

Даже в области языковой структуры для многих японских авторов значимо лишь отличие японского языка от английского языка и в меньшей степени от других европейских языков. По грамматическому строю японского языка сохраняется довольно значительное сходство с другими алтайскими языками (хотя общие слова разошлись настолько, что с трудом опознаются). Тот же порядок слов, близки синтаксис и морфологические категории. Но это сходство массовым сознанием игнорируется: «не те» языки.

В целом, безусловно, подчеркивание и преувеличение уникальности своего языка (как и своей культуры в целом) составляет одно из постоянных свойств японских представлений о мире [Moeran 1989: 15]. Впрочем, отмечают, что и, например, американцы в своей массе

плохо знают историю и склонны всё происходящее в своей стране считать беспрецедентным [Lakoff 2003: 40].

2.3. Преувеличение трудностей своего языка

Из многих свойств японского языка выделяется одно: «Японский язык очень труден»; естественно под трудностью имеется в виду трудность для жителей США, носителей английского языка. Крупный современный японо-американский лингвист Сибатани Масаёси даже посвятил раздел своей японской грамматики разоблачению этого, как он считает, мифа [Shibatani 1990: 89–90]. Массовость подобных представлений отмечена и в работах самых последних лет [Suzuki 2006: 46].

Истоки подобных идей можно видеть в древности: японцы жили обособленно, и их языком редко овладевали иностранцы. В конце XIX в. один из первых английских специалистов по Японии Б. Х. Чемберлен писал, что японцы смотрят на знающих их язык европейцев как на говорящих обезьян, цитируется по [Miller 1982: 77]. А после поражения 1945 г., когда страна впервые за всю свою историю подверглась оккупации, и японцы впервые в массовом порядке столкнулись с американцами, они заметили, что завоеватели не могли, а обычно и не желали осваивать язык побежденных. Отмечают и то, что сами американцы и европейцы и в эпоху Мэйдзи, и после 1945 г. очень часто считали, что не могут овладеть японским языком, предпочитая в случае крайней необходимости обходиться пиджинами; сами же японцы слишком легко с этим согласились [Stanlaw 2004: 276].

В наши же дни в подобных взглядах отражается, конечно, представление современных японцев о своей причастности к миру развитых государств, в котором господствует английский и имеются еще некоторые другие языки. Но из этих языков, разумеется, японский язык, единственный не индоевропейский язык в «восьмерке», наименее похож на все остальные. Очевидна сложность иероглифов, непохожа грамматика, да и звучит язык не по западному. Даже значительное число английских заимствований не сильно облегчает изучение японского языка, как это мы увидим в главе 6: они живут в японском языке своей жизнью. И в нашей стране, вероятно, немало людей может рассказать, как они начинали учить японский язык и бросали. Меру сложности языка установить вряд ли возможно, но трудности в освоении этого языка, никому близко не родственного, для иностранцев очевидны.

На деле, разумеется, эти трудности преувеличиваются в японском массовом сознании. В отличие от эпохи американской оккупации сейчас знание японского языка иностранцами—уже далеко не редкость. Отмечают, что сейчас, например, есть белые люди, получающие японские литературные премии за произведения на японском языке [Gottlieb 2005: 5].

2.4. Японский язык – для японцев

Нередко эти сложности в освоении японского языка американцами и европейцами воспринимаются в Японии как нечто естественное и даже положительное. И бросается в глаза одна особенность Японии. Обычно чем более важную роль играет то или иное государство на мировой арене, тем больше международных функций выполняет его язык. Но роль японского языка здесь за последние полвека увеличилась не намного. Японский язык не стал языком ООН, и Япония этого никогда всерьез не добивалась. Правда, такой вопрос однажды поднимался в конце 80-х гг., но довольно быстро оказался снят с повестки дня [Gottlieb 2005: 74]. Очень редко японский язык выступает в качестве языка международных конференций и симпозиумов. И в Японии это не кажется ненормальным. Как указывает Дж. Стенлоу, еще недавно идея о японском языке как международном казалась, в том числе в самой Японии, еретической, хотя сейчас это уже не так [Stanlaw 2004: 277].

Обычные ссылки японских авторов на сложность их языка не всё объясняют. Соседний Китай, чей язык не больше похож на европейские, борется за признание его международным явно активнее. И с точки зрения западного человека есть еще одна странность: далеко не всегда японцы с одобрением относятся к хорошему знанию их языка иностранцами (мы имеем в виду, прежде всего, американцев и европейцев). Ошибки прощают довольно легко, плохо говорящему по-японски иностранцу будут говорить комплименты, но если иностранец по-настоящему овладел языком, он может столкнуться с настороженным к нему отношением (сейчас, впрочем, это встречается реже, чем раньше). Об этом пишут японские авторы [Matsumoto 1980: 110; Mizutani 1981: 16, 63–65]. Иностранцу иногда приходится сталкиваться с тем, что на вопрос на японском языке ему отвечают на английском (японцы часто думают, что все люди европейской внешности – носители этого языка). Автор этой книги однажды разговаривал в самолете с соседом-японцем. Мы общались по-японски, я рассказал, что занимаюсь этим языком. Потом разговор оборвался, я стал смотреть японский журнал. Удивлению моего соседа не было пределов: «Как, Вы и читать можете?». У нас трудно себе представить специалиста по какому-то языку, который на нем говорит, но не читает. Но японцы исходят из того, что иероглифы – самое сложное в их языке.

Видимо, корни всего этого лежат в национальных привычках, сложившихся в изолированном островном государстве. Конечно, Япония—давно не закрытая страна, но в провинции и сейчас дети, увидев белого человека, бегут за ним с криками: *«Gaijin!»* («Иностранец»); автор книги сталкивался с этим в 70—80-е гг. недалеко от Токио. В самом Токио, впрочем, такого уже не бывает, а само слово *gaijin* сейчас избегается, например, оно запрещено на телевидении [Gottlieb 2005: 118]. Конечно, времена изменились, но ситуация в Японии отличается от того, что мы видим в ряде других стран. В малых странах Европы очень уважают того редкого иностранца, кто знает их язык, а в США знание иностранцем английского языка воспринимается как норма.

И, по-видимому, в Японии, несмотря на склонность к языковым заимствованиям, важно ощущение владения наряду со всем этим чем-то уникальным, специфически своим. Таков синтоизм, чисто японская религия в отличие от сосуществующего с ним интернационального буддизма (недаром японцам никогда не приходило в голову обращать в него иностранцев). И таков японский язык, пусть в нем есть особые подсистемы китайских и английских заимствований. Отсюда так сильны представления о непосильной сложности этого языка для белых людей, в меньшей степени это касается других народов Дальнего Востока. Исключением из традиционного японского языкового изоляционизма была языковая политика в первой половине XX в. в японских колониях: на Тайване, в Корее и в японской Океании. Здесь ставилась задача не просто обучить покоренные народы японскому языку, но

ассимилировать их в языковом отношении. Как указывает Курасима Нагамаса, тогда единственный раз в японской истории вне Японии распространялся не *nihongo* (японский язык для иностранцев), а *kokugo,* то есть японский язык в качестве родного [Kurashima 1997, 1: 97].

В массовом сознании существует и идея о том, что японцам тяжело и поэтому не стоит учить иностранные языки. На это жалуется специалист по методике преподавания японского языка Эндо Хатиро [Endoo 1995: 28], упоминает об этом и Н. Готлиб [Gottlieb 2005: 36–37]. Этим идеям, однако, противостоит престижность английского языка (см. главу 6).

Всё сказанное свидетельствует о том, что японское общество всё еще остается замкнутым. Здесь мы впервые сталкиваемся с фундаментальным для японской культуры противопоставлением «свой – чужой», о котором будет не раз говориться в последующих главах. Сильны представления о том, что японцы должны говорить по-японски, иностранцы, как кажется многим японцам, по-английски, а вопрос межнационального общения не является приоритетным.

Впрочем, в последние десятилетия призывы придать японскому языку международный статус стали встречаться чаще. Особенно много об этом говорили в 80-е гг., в период наибольших экономических успехов Японии. Уже упоминавшийся Судзуки Такао писал в газетной статье в 1987 г.: «Мы должны сделать всё, чтобы выработать точку зрения, соответствующую нашей экономической мощи… Но нельзя отвлечься от проблемы языка. Поэтому наша самая неотложная задача – способствовать использованию японского языка как международного» [Suzuki 1987b]. Тогда даже ставили вопрос: будет ли мир в XXI в. говорить по-японски. Судзуки не отказывается от такой постановки вопроса и сейчас [Suzuki 2006: 15–16]. Но сейчас такие высказывания слышны реже: экономическое положение страны после долгой стагнации им не способствует.

2.5. Особое богатство японского языка

В Японии любят видеть особые качества своего языка и в связи с имеющимися в нём многочисленными синонимами; этот миф также критиковал М. Сибатани [Shibatani 1990: 89–90]. Действительно, заимствованные слова вместе с иероглифами их чтения, подвергшиеся фонетической адаптации, значительно пополнили японский лексический запас, очень часто оказываясь синонимичными или очень близкими по значению исконно японским словам. Впрочем, чаще всего имеются стилистические различия: исконное слово – общеупотребительное или чисто бытовое, китайское – книжное. Еще расширилась синонимия после появления в японском языке множества заимствований из английского языка, о которых речь пойдет в шестой главе. Но, разумеется, обилие синонимов – свойство многих языков, а в Японии эти свойства своего языка также склонны мифологизировать.

2.6. Культура молчания

Еще черта японских воззрений на свой язык – особое подчеркивание склонности к молчанию и невербальным средствам передачи информации. Например, Хага Ясуси пишет, что японцы не любят всю информацию передавать словами, и можно говорить о «языке без языка» *(gengai no kotoba)* в Японии [Haga 2004: 104]; по его мнению, японцы испытывают недоверие к слову и не любят объяснять [Haga 2004: 260]. Он же считает, что французы кричат на вокзалах, немцы часто хохочут, а японцы избегают всего этого [Haga 2004: 72]. Такэмото Сёдзо даже заявлял, что с японской точки зрения западные люди слишком говорливы, тогда как японцы привыкли к молчанию, и значительная часть информации в их языке лишь подразумевается. Причина этого в том, что для западного человека слово – оружие, без него нельзя выжить, а японцы находятся между собой в мирных отношениях семейного типа [Takemoto 1982: 267]. Вообще работам по *nihonjinron* свойственно особое подчеркивание роли молчания и подтекста в японской культуре; обзор некоторых точек зрения см. [Гуревич 2005: 169–181]. Такие идеи широко проникают с подачи японских авторов и в другие страны, в том числе в Россию. Не только в Японии, но и в других странах «японцев называют носителями традиционной культуры молчания, культуры бесстрастной коммуникации, имеющей минимальные внешние проявления» [Гуревич 2005: 169]. Японские пословицы и поговорки отражают представления о вреде многословия и пользе молчания [Гуревич 2005: 176–178], это отмечает и Хага Ясуси [Haga 2004: 106]. А в наши дни социальные стереотипы отражаются не столько в пословицах, сколько в рекламных лозунгах [Hayakawa 2001: 40–41]. Эту мысль автор статьи иллюстрирует именно тем, что, например, в рекламе пива «Саппоро» используется образ молчаливого мужчины [Hayakawa 2001: 42].

Как часто бывает в подобных случаях, такой взгляд имеет рациональное зерно. Главный объективный аргумент в его пользу – постоянное опущение тех элементов структуры предложения, которые обязательно выражаются в английском и других языках, с которыми японский язык обычно сопоставляется. Например, нам однажды встретилось уличное объявление: *Koneko sashiagemasu.* Первое слово значит 'котенок; котята', второе—глагол со значением 'давать' (от 1-го лица ко 2-му или 3-му, вежливо) в форме настоящего времени (лицо и число в глаголе никогда не выражается). С точки зрения носителя русского языка в предложении опущены: 1) подлежащее, 2) косвенное дополнение (кому дать), 3) показатель прямого дополнения (винительного падежа), 4) указание на число дополнения. А в дублированных на японский язык западных кинофильмах ощущается слишком частое для японского языка использование личных местоимений.

Несомненно и осуждение говорливости, и одобрение молчаливости также в японской народной мудрости, но, во-первых, подобные сентенции можно найти и в русском языке (что отмечает Т. М. Гуревич), во-вторых, соотношение говорения и молчания – одно из проявлений групповых и иерархических отношений, о которых см. ниже. Например, в главе 8 речь будет идти о традициях молчания женщин в диалоге с мужчинами.

Р. Э. Миллер, резко критикующий «культуру молчания» как один из японских языковых мифов, считает, что на деле японцы могут быть даже очень говорливы: ресторан в японском стиле – «словесный бедлам», а в японских храмах шума больше, чем в храмах других народов, и нельзя считать, что в прошлом было иначе [Miller 1982: 86–87]. Можно добавить, что не прослеживается «культура молчания» в столовых и комнатах отдыха японских университетов.

Молчание для японцев – скорее идеал, чем норма общения. Этот идеал, возможно, имеющий конфуцианские истоки [Dale 1986: 79], в языковом сознании преувеличивается и мифологизируется.

Итак, реальные особенности структуры или функционирования японского языка порождали и продолжают порождать стереотипы массового сознания, которые могут оказывать на язык обратное воздействие через поддержание нормы, языковую политику, обучение языку и др.

Глава 3
ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И КАРТИНЫ МИРА

3.1. Японский языковой национализм

Вернемся к идеям *nihonjinron.* Можно видеть, что они, как и сходные идеи публикаций более раннего времени, при разной аргументации и применении к разным, казалось бы, явлениям культуры и языка, сохраняют некоторые общие черты. Это, во-первых, обостренное чувство национальной идентичности, во-вторых, гордость национальными традициями и традиционным укладом и настороженное отношение к американскому образу жизни, в-третьих, культурный и языковой изоляционизм. Впрочем, такой видный ученый как Судзуки Такао, сохраняя две первые черты, решительно отказывается от третьей, подчеркивая необходимость интернационализации Японии.

В чём причины устойчивости таких представлений? Здесь, помимо политических факторов, о которых писали Р. Э. Миллер и П. Дейл, надо учитывать и культурные, и психологические. Для каждого народа, вступившего на путь модернизации и вестернизации, оказывается необходимым осмыслить свою национальную специфику, выявить, чем собственная культура отличается от западной. И вполне естественно, что у самых различных народов наряду со своими «западниками» появляются свои «славянофилы» и «почвенники», отстаивающие в том или ином виде идеи превосходства своей культуры, своего взгляда на мир, а зачастую и своего общественного устройства. И наиболее часто такие идеи распространяются и приобретают популярность в периоды успешного развития, когда народу есть чем гордиться. Однако национальная гордость очень легко переходит рамки разумного и способствует появлению и развитию разного рода мифов. Япония, где жанр *nihonjinron* популярен – яркий пример этого.

Как уже говорилось, истоки многих идей такого рода восходят к школе *kokugaku* XVII–XVIII вв. Становление национальных лингвистических традиций нередко сочетается с появлением идеи превосходства своего языка над другими. Это происходило примерно в то же время и в России: вспомним известные рассуждения М. В. Ломоносова об особом богатстве русского языка по сравнению с западными. А младший современник Ломоносова, крупнейший представитель школы *kokugaku* Мотоори Норинага (1730–1801) писал, что наличие небольшого числа слогов в японском языке – свидетельство его совершенства, тогда как многочисленные слоги китайского языка и санскрита неправильны и похожи на звуки животных [Алпатов, Басс, Фомин 1981: 282].

В то время еще речь шла о противопоставлении японской культуры, прежде всего, китайской. Но окончательно сформировалась японская националистическая идеология в эпоху Мэйдзи, когда остро встала проблема освоения западных ценностей и осознания собственных. П. Дейл возводит формирование этой идеологии к концу эпохи Мэйдзи [Dale 1986: 6]. В эпоху японского милитаризма и единственной за всю историю Японии колониальной экспансии националистическая идеология стала государственной, получив выражение в сочинениях вроде официальной публикации «Kokutai no hongi» («Истинная сущность государственного строя») (1937), автором которой был близко стоявший к правящим кругам профессор С. Хиса-мацу. В этом сочинении большое место занимали идеи об особой ценности японского языка. Еще дальше заходили крайне правые. Например, И. Кита еще в 1919 г. в книге, которую потом называли «библией японского фашизма», писал: «Английский язык не является ни необходимым, ни обязательным в народном образовании. … Английский

язык—яд для сознания, подобный опиуму, которым англичане разрушили китайский народ. Полное изгнание английского языка из нашей страны особенно важно, поскольку главное значение реорганизации государства—в восстановлении его национального духа» (цитируется по [Молодяков 1997: 259]).

После войны националистические идеи ушли в тень, хотя, разумеется, не исчезли (область языка оказалась их прибежищем даже в это время), а с 60-х годов начали вновь высказываться, хотя и не в том виде, как до 1945 г. Очевидно, что в основе этого лежали экономические и технологические успехи Японии. Именно на время наибольших успехов приходится расцвет литературы по *nihonjinron* [Gottlieb 2005: 52].

Конечно, идеи о превосходстве своей культуры, включая язык, как и своей социальной организации, встречаются не только в Японии. Достаточно вспомнить мусульманские страны, да и Россию. В мире это скорее норма, чем исключение. Менее всего в языковой области они, пожалуй, свойственны Западной Европе, где несколько последних веков сосуществовала целая группа государств, соперничавших между собой, но примерно равных по силе и культурному уровню. После падения роли латыни ни один язык не стал общеевропейским (по крайней мере, до последнего времени, когда на эту роль стал претендовать английский). А в последние десятилетия в Западной Европе всякие идеи национальной самобытности, включая языковую, стали ассоциироваться с фашистской Германией и избегаются, противореча господствующим концепциям европейской интеграции. Автор предисловия к книге П. Дейла пишет, что в Великобритании сейчас никому не придет в голову пропагандировать «английскость» (englishness), поэтому соответствующие японские идеи «японскости» удивляют [Stockwin 1986: 3]. Впрочем, в тот же ряд можно поставить и концепции превосходства всей европейской или христианской культуры над остальными. Зато в США идеи о превосходстве собственной культуры и, в том числе, английского языка очень популярны, и в наши дни более чем когда-либо, хотя сейчас чаще подаются не в виде пропаганды американского образа жизни, а в оболочке глобализации.

Но японские концепции такого рода имеют некоторые особенности. Одна из них заключается в том, что вестернизация Японии уже зашла далеко, и каждый японец, пройдя через школьное образование, знаком с научной картиной мира и основами научной аргументации. Поэтому в Японии при формулировании тех или иных идей уже нельзя прибегать только к традиционным, например, религиозным аргументам. Каждая, даже самая фантастическая идея требует научного или хотя бы квазинаучного обоснования. Публикации по *nihonjinron* обычно наполнены, а то и переполнены научными фактами, каждый из которых по отдельности может быть достоверен сам по себе, могут использовать данные экспериментов, математический аппарат и пр. На деле же их авторы идут не от фактов к обобщениям, а от некоторых заранее заданных постулатов; затем для иллюстрации этих постулатов из моря фактов выбираются наиболее подходящие, хотя может создаваться и «воображаемая реальность». Конечно, такой жанр квазинаучных сочинений встречается не в одной Японии: весьма часто приходилось и приходится с ним сталкиваться в нашей стране и в прежние эпохи, и сейчас.

Другая особенность японских националистических публикаций состоит в том, что особое место в них, как мы уже отмечали, занимают вопросы языка. Конечно, и здесь можно найти параллели в других странах. У нас не только М. В. Ломоносов, но и крупнейшие ученые XX в. могли писать об особом величии и богатстве русского языка, превосходящего иноземные языки, пример – книга В. В. Виноградова [Виноградов 1945]; характерно, что она появилась в 1945 г., когда успех нашей страны был неоспорим. И всё же русское «почвенничество» прежде всего апеллировало к иным ценностям. А в Японии почти любое сочинение, пытающееся доказать превосходство японского пути развития над западным, упоминает, хотя бы вскользь, об особых свойствах японского языка, пример – упоминавшееся

сочинение «Kokutai no hongi». С другой стороны, рассуждать об особой ценности своего языка и своей культуры в целом были склонны не только дилетанты, но и самые крупные японские ученые разного времени (как и некоторые их русские и советские коллеги). Тот же Мотоори Норинага вошел в историю как один из основателей научного изучения японского языка. А в год вступления Японии в мировую войну появилась, безусловно, значительная с научной точки зрения книга Токиэда Мотооки «Kokugogaku-genron» («Принципы японского языкознания») [Tokieda 1941], позднее многократно переиздававшаяся; ее фрагменты есть и в русском переводе [Языкознание 1983: 85—110]. В книге резко и небезосновательно критикуются идеи западной структурной лингвистики, которым в качестве образца противопоставляются концепции Мотоори Норинага и других представителей kokugaku, не имевших понятия о западной науке (о теоретических идеях этой книги см. нашу работу [Алпатов 2005: 265—270]).

Как подчеркивает Р. Э. Миллер [Miller 1982: 36–40], языковая «аргументация» должна «подтверждать» то, что все японцы уникальны, культурно богаты и однородны. По словам одного из западных исследователей, на основе таких работ японцы выглядят как одна счастливая семья [Moeran 1989: 180]. Впрочем, неоднородность японского общества где-то признается (по возрасту и по полу), но в других случаях отрицается (по классовой принадлежности) [Moeran 1989: 15]. То есть опять-таки существенны различия, имеющиеся внутри семьи. Любимая идея – «гармоничность» японского общества, корни которой могут искать опять же в особенностях языка. Другая идея – исконный коллективизм японцев. Ряд примеров такого подхода мы далее рассмотрим.

3.2. О японском мозге

Авторы некоторых работ по *nihonjinron* приходят к глобальным выводам. Любопытна ставшая в конце 70-х гг. в Японии бестселлером (за первый год не менее девяти изданий) книга врача-отоларинголога Цунода Таданобу (которого не следует смешивать с его однофамильцем, известным типологом Цунода Тасаку) под названием «Мозг японцев» [Tsunoda 1978]. Мы уже критически разбирали эту книгу [Алпатов 1988–2003: 142–144], см. также ее справедливую критику у Р. Э. Миллера [Miller 1982: 74–83] и Дж. Мехера [Maher 1995: 9]. Поэтому отметим лишь главное ее содержание.

Книга «Мозг японцев» внешне выглядит как описание экспериментального исследования, содержит много таблиц, графиков, формул, описаний опытов. Всё это должно было вызывать и действительно вызывало почтение у читателей-неспециалистов. Но ее успеху способствовало то, что выводы книги всем понятны и весьма приятны для широкого японского читателя, а наличие формул и графиков вызывало ощущение того, что эти приятные выводы строго научно доказаны.

Автор книги описывает свои опыты по восприятию гласных и согласных звуков левым и правым ухом испытуемыми разных национальностей. Он приходит к выводу о том, что если согласные всеми воспринимаются более или менее одинаково, то гласные японцами (и еще полинезийцами, видимо, добавленными для парирования обвинений в национализме) воспринимаются не так, как западными людьми, китайцами или корейцами. Из неодинакового восприятия гласных звуков разными ушами он делает вывод о том, что эти звуки различно воспринимаются у этих людей разными полушариями мозга. Далее идут уже чисто умозрительные выводы, последний из которых следующий: японцы наряду с полинезийцами обладают уникальным устройством мозга [Tsunoda 1978: 70].

Из строения японского мозга автор выводит особенности японской культуры. Если у других народов жестко разделены функции левого, логического и правого, интуитивного полушарий мозга при доминировании правого, то у японцев всё иначе. До знакомства с европейской культурой для японцев не было различий мыслей и чувств, им даже сейчас нет необходимости четко формулировать идеи, что приводит, с западной точки зрения, к логическим неясностям в японских текстах. Лишь японцам доступны голоса природы, японская музыка, они слиты с природой и не одиноки в ней, будучи способны, например, ассоциировать писк насекомых со временем года. А иные люди, особенно западные, одиноки в природе и противопоставлены ей, логичны, практичны, преуспевают в технике и физике [Tsunoda 1978: 21]. Японцы обладают развитой интуицией, а европейцы всё подчиняют логике. При этом происходит типичная для *nihonjinron* подмена понятий: хотя к американцам и европейцам добавлены китайцы и корейцы, а к японцам – полинезийцы, автор постоянно забывает об этом и переходит всё к тому же больному для японских «почвенников» противопоставлению Японии и Запада.

Поскольку, согласно умозаключениям Цунода, японский мозг совершеннее, то человек, не обладающий уникальным мозгом, не способен понять японскую музыку и по-настоящему выучить японский язык. Тем самым упомянутые в прошлой главе идеи о том, что людям Запада, китайцам и другим народам невозможно заговорить по-японски, получают «экспериментальное подтверждение». Японец же, согласно Цунода, может освоить чужие культуры и языки, но это для него скорее вредно: чем лучше японец их узнает, тем больше для него опасность потерять уникальное строение мозга [Tsunoda 1978: 90—107].

Ясно, что автор книги не пришел к своим выводам на основе экспериментов, а, наоборот, с самого начала исходил из априорной идеи о превосходстве японской культуры над западной, а затем искал для нее «экспериментальные подтверждения», которые, как

пишет Р. Э. Миллер, не выдержали проверки у других исследователей [Miller 1982: 80]. Книга интересна лишь как пример выражения стереотипов японской культуры. Как уже говорилось, японцы, многое заимствуя, любят гордиться обладанием чем-то особым, недоступным другим народам, часто это связывается с языком. Это и получило «научное подтверждение» в книге «Мозг японцев», данные которой нередко некритически используют, см. [Takemoto 1982: 271].

3.3. Картины мира и японская уникальность

Особое место в исследованиях по *nihonjinron* занимают работы, касающиеся важнейшей проблемы—проблемы японской языковой картины мира; о ней мы далее будем говорить и в этой, и в следующей главах. Здесь мы критически рассмотрим некоторые японские подходы к ней, а в следующей главе попробуем разобраться в ней более или менее объективно.

Давно известно, что языки по-разному членят мир, с разной степенью детальности описывают и классифицируют его явления. Еще в первой половине XIX в. В. фон Гумбольдт писал: «Весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне. … Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [Гумбольдт 1984: 80].

В 30-е гг. XX в. вопрос о влиянии языка на представления людей о мире вновь поставили замечательный американский культуролог и лингвист Э. Сепир и его ученик Б. Уорф. Уорф сопоставлял «европейский стандарт» и сильно отличающуюся от него картину мира североамериканских индейцев хопи, придя к выводу о том, что в основе различий в видении мира лежит различие в языке [Уорф 1960]. Идею о том, что представления людей о мире и их поведение обусловлены их языком, принято называть гипотезой языковой относительности, или гипотезой Сепира-Уорфа (хотя Э. Сепир проявлял в этих вопросах большую осторожность, чем его ученик). Эта гипотеза активно обсуждается в современной науке, но ее нельзя считать ни доказанной, ни опровергнутой. Фактов, ее подтверждающих, немало, но наука пока не обладает каким-либо научным методом для разрешения этих проблем; мы уже писали об этом [Алпатов 1998: 219–226]. Сейчас картины мира активно изучаются и у нас, и в ряде других стран. Живым классиком такого рода исследований считается австралийская лингвистка польского происхождения Анна Вежбицкая, чьи работы хорошо известны и у нас [Вежбицкая 1996], о ее работах по японскому языку см. ниже.

Для японского языка вопрос об особенностях членения мира, по-видимому, впервые поставил еще в 50-е гг. видный лингвист Киндаити Харухико [Kindaichi 1978]. В наши дни японские авторы часто вспоминают гипотезу Сепира-Уорфа, а иногда также выдвинутые примерно в те же годы сходные идеи немецкого лингвиста Л. Вайсгербера, развивавшего концепцию В. фон Гумбольдта, см., например, [Haga 2004: 169, 180–181]. См. также об этом с позиции извне [Moeran 1989: 15], где отмечается, что в Японии принимают гипотезу Сепира-Уорфа в самом сильном ее варианте: язык определяет всё. Особое значение, придаваемое японским массовым сознанием своему языку, хорошо увязывается с высказанными в совершенно иной обстановке идеями американского ученого.

Нередко и в Японии, и на Западе отмечают влияние на *nihonjin-ron* и западных исследований «японского духа», особенно появившейся еще в 40-х гг. книги американского этнолога Рут Бенедикт [Ikega-mi 2000: 67; Dale 1986: 31; Moeran 1989: 14; Tanaka 2004: 19–20]. Эта книга, сейчас изданная и по-русски [Бенедикт 2004], основывалась на идее о коренной разнице японского и западного японского взгляда на мир, и многие из методов и конкретных наблюдений Р. Бенедикт приняты на вооружение в работах по *nihonjinron.*

При изучении в Японии картин мира японская культура и японское общество сопоставляются либо только с США (иногда вместе с Канадой), либо с некоторым недифференцированным «Западом вообще», куда может включаться и Россия. В области же языка эталон – почти всегда английский язык. Лишь в отдельных работах вспоминают и про другие языки, например, корейский, как в книге [Ikegami 2000].

Образец такого подхода—книга [Fukuda 1990], авторы которой (два брата, специалисты по менеджменту, из которых один переселился в Канаду, другой остался в Японии)

попытались сопоставить, с одной стороны, японский и английский языки, с другой стороны, социальное устройство Японии и США (а также Канады) с особым вниманием к устройству менеджмента. Для нас привычно, что какая-то одна область рассматривается в качестве «базиса», но необычно, что в таком качестве рассматривается язык.

Книга делится на лингвистическую и общекультурную части. В каждой из них перечисляются многие факты, сами по себе в большинстве хорошо известные и вполне реальные. Но они подбираются в соответствии с заранее избранной схемой: авторам надо показать раздробленность, индивидуализм американцев и канадцев и целостность, коллективизм японского общества. Это они ищут везде, начиная с языка.

Вот первая, лингвистическая часть книги. Авторы перечисляют ряд особенностей, действительно имеющихся в английском языке (другие языки, как обычно в *nihonjinron,* как бы не существуют), в сопоставлении с японским языком. У американцев имя стоит перед фамилией, адрес начинается с имени и фамилии, а страна стоит на последнем месте, в японском же языке всё наоборот. Силовое ударение в английском языке четко разделяет слова, японское музыкальное ударение их объединяет. Обособленность английских слов усиливается артиклями, а на письме пробелами и использованием прописных букв, чего нет в японском языке. Английское предложение чаще всего четко делится на две части: группу подлежащего и группу сказуемого; в японском языке такое двоичное деление встречается намного реже. Английские личные местоимения – особая часть речи с особыми свойствами, а японские личные местоимения по свойствам не отличаются от существительных. Каждая из перечисленных особенностей обоих языков вполне реальна и не раз описывалась.

Эти различия, однако, подобраны для иллюстрации двух заранее заданных тезисов. Первый: для английского языка главное – обозначение части, для японского – обозначение целого. Второй: в английском предложении составные части резче отделены друг от друга, чем в японском. Вывод авторов: японский язык холистичен, рассматривает мир в его целостности, ему свойственны конкретность и эмоциональность; английскому языку свойственны расчленение мира и выделение индивидуального, особенно эгоцентричного (даже местоимение 1-го лица пишется с большой буквы) начала, абстрактность и логичность [Fukuda 1990: 78].

Переходя к рассмотрению японского и американо-канадского общества, братья Фукуда также перечисляют множество достоверных или по крайней мере правдоподобных фактов. Вот некоторые из них. Американские и канадские компании предпочитают узких специалистов, японские фирмы—преданных людей, готовых выполнять любую работу. На американских визитных карточках обязательно обозначается профессия человека, а на японских часто—лишь фирма. Христианство монотеистично, синтоизм политеистичен, а разные религии мирно сосуществуют в Японии, но не на Западе, где в отличие от Японии не допускается исповедовать разные религии одновременно. На западных могильных памятниках всегда пишутся имена и почти всегда даты жизни погребенных, на японских—лишь семейная фамилия.

Отсюда делается вывод в отношении «надстройки»: американо-канадское общество характеризуется рыночной экономикой, индивидуализмом членов, отделением власти от личности, склонностью к соревнованию и борьбе. Японское же общество отличает целостность, государственное регулирование экономики, склонность своих членов к гармонии и консенсусу, преобладание интересов государства и фирмы над интересами личности [Fukuda 1990: 107–108]. В США и Канаде господствует капитализм, которого в Японии нет и никогда не было. Всё это иллюстрируется примерами из разных сфер от менеджмента до семейной жизни (в американской семье муж и жена борются за первенство, а в Японии они мирно распределяют между собой функции [Fukuda 1990: 160–161]); сами по себе они опять-таки достоверны, но очевиден их целенаправленный подбор.

Делаются и такие выводы: западное общество пронизано антиномиями, начиная от двоичного кода и кончая классовой борьбой, японское общество гармонично и не требует давать однозначного ответа «да» или «нет» [Fukuda 1990: 99]. В США и Канаде работа жестко отделена от досуга, который ценится выше, тогда как японцы постоянно трудятся [Fukuda 1990: 111]. Для японца на первом месте интересы страны, затем – фирмы, затем – семьи, а на последнем месте находится он сам, тогда как для западного человека всё наоборот [Fukuda 1990: 134]. И всё это выводится из того, что английский язык ориентирован на части, а японский язык—на целое.

При современном уровне развития науки пока что всё это нельзя ни строго доказать, ни строго опровергнуть, нет и критериев доказательного подбора подтверждающих фактов. Их всегда много и в языке, и в других компонентах культуры, но можно найти и немало противоположных. Как известно, существует и полярная концепция, в соответствии с которой современная Япония уже вполне американизирована, в ней пустили прочные корни идеи свободы, демократии, гражданского общества и т. д. И ее сторонники, более распространенные в США и Европе (а теперь и у нас), чем в самой Японии, тоже могут опираться на значительное число фактов, только, разумеется, других. А в области связи между языком и культурой пока что наряду с отдельными убедительными примерами последователи Б. Уорфа приводят иногда и фантастические, однако, разграничить их пока что можно лишь с помощью интуиции и так называемого «здравого смысла», а они у разных людей не одинаковы.

Так что подбор фактов у братьев Фукуда предназначен для заранее заданной цели. А она вполне стандартна для *nihonjinron:* показать, что японское общество не хуже и даже лучше американского. И эту книгу трудно назвать научной, хотя в ней нет столь явной псевдонаучности, как в книге «Мозг японцев» (но и прославилась она гораздо меньше).

Однако между выходом в свет двух этих книг прошло двенадцать лет (1978–1990). При их сравнении видно, что кое-какие изменения в японском массовом сознании произошли. Цунода в 70-е гг. исходил из традиционного японского языкового и культурного изоляционизма. По его мнению, «чужой» не в состоянии, не пожив с детства в японском обществе, освоить японский язык и японскую культуру, а японцу освоение чужих языков и культур может принести вред. Отсюда напрашивается естественный вывод, который, правда, Т. Цунода прямо не решился сформулировать: лучший вариант – японцу с иностранцем не общаться вообще. В книге братьев Фукуда ничего подобного нет; наоборот, подчеркивается необходимость интернационализации, взаимопонимания народов и взаимопроникновения культур. Авторы готовы признать даже, что каждая культура имеет свои плюсы и минусы. Они, в частности, соглашаются с тем, что индивидуалистическая американо-канадская культура хороша там, где важны качества отдельной личности, прежде всего, в науке и изобретательстве. Поэтому именно на Западе, как они отмечают, развились всякие науки от ядерной физики до генеративной лингвистики, а среди японских ученых мало нобелевских лауреатов. Но, зато, по их мнению, японская культура выше везде, где главное – отношения между людьми: начиная от экономики и государственного устройства и кончая семьей, везде отношения (между начальниками и подчиненными, между супругами и т. д.) гармоничны и не связаны с соперничеством. Баланс соблюден, и, тем не менее, очевиден акцент на преимуществах японского образа жизни.

В отличие от автора книги «Мозг японцев» Э. и Ю. Фукуда подчеркивают необходимость для Запада осваивать японский опыт там, где Япония впереди, а японцам нужно, по их мнению, в большей степени, чем раньше, ощущать себя частью мира [Fukuda 1990: 202]. В подобных публикациях всё больше наблюдается уже не стремление к защите японской культуры от влияний извне, а призыв к ее мировому распространению, что исконно японскому национализму не было свойственно.

Впрочем, оборотной стороной национальной гордости, в том числе гордости за свой язык, может быть, как отмечал Р. Э. Миллер [Miller 1982: 84], и «антимиф», связанный с комплексами национальной неполноценности, включая языковую. Можно встретить и рассуждения о недостатках японского языка (естественно, по сравнению с английским). Например, утверждают, что этот язык затруднителен для прямого выражения смысла и для выражения критических мнений, неудобны слишком многочисленные способы обозначения собеседника и др. [Narumi, Takeuchi, Komatsu 2007: 13–14].

Использование языковых аргументов в попытках найти особую гармонию в японском обществе и в японской культуре свойственно не только авторам дилетантских работ. В целом, безусловно, исследования картин мира в японской науке, как и исследования по *niho-njinron* в целом необходимо дифференцировать. Нельзя согласиться с Дж Стенлоу, ставящим в один ряд и исключающим из пределов науки таких разных авторов, как Цунода Таданобу, Судзуки Такао и Киндаити Харухико [Stanlaw 2004: 274]. Такие книги, целиком или частично посвященные вопросам японской картины мира как [Kindaichi 1978; Ikegami 2000; Haga 2004], содержат немало интересных наблюдений, и мы в следующей главе будем использовать многие их примеры. И с Судзуки Такао нередко можно соглашаться. Однако, Дж. Стенлоу отчасти прав в том смысле, что почти в любой, даже лучшей публикации по особенностям японской культуры, включая языковую культуру, можно увидеть формулировки, продиктованные симпатиями или антипатиями, находящимися вне научной сферы. Например, Судзуки утверждал, что в японском языке нет и не было таких классовых различий, как в английском или французском языке [Suzuki 1987a: 130]. Судзуки также писал, что английский язык не создан для того, чтобы говорить о вещах по-японски [Suzuki 1987a: 114]. Вопрос о пригодности для этих разговоров более близких по строю к японскому языку тамильского или чувашского, как всегда, не ставится. Не говорим уже о далеко выходящих за научные рамки высказываниях того же автора о том, что передовая Япония самим фактом своего существования мешает мировому господству белых людей [Suzuki 2006: 131] или что победа Японии в Русско-японской войне остановила процесс установления власти белых христиан над миром [Suzuki 2006: 133].

Заметим, что впервые выдвинутый в СССР, но давно у нас забытый тезис о классовости языка в японской лингвистике встречается и сейчас. Кстати, можно согласиться с Судзуки в том, что современный японский язык в своей основе не классов. Но это только потому, что в большинстве современных обществ стандартный (литературный) язык приобретает общенародный характер (см. главу 5), а роль социальных диалектов уменьшается. Япония здесь не отличается ни от СССР, ни от США или современной России. В то же время вряд ли можно отрицать наличие очень разных социальных вариантов языка, скажем, в эпоху Токугава.

Другой автор писал, что в гармоничном японском обществе собеседников немного, и каждый из них определен, тогда как на Западе приходится общаться сразу со многими, поэтому требуются специальные языковые средства, вроде ненужного японцам артикля и не обязательного в Японии множественного числа [Takemoto 1982: 271].

В пользу тезиса о превосходстве японского общества используется и упоминавшийся в предыдущей главе тезис о «культуре молчания». Это видно и в уже приводившихся словах о том, что язык для японцев в отличие от западных людей – не оружие. Такие взгляды опираются на высказанные еще до войны идеи знаменитого писателя Танидзаки Дзюнъитиро: «Когда сталкиваешься с европейцами лицом к лицу, даже только громкость их голоса подавляет физически. … Европейцы совершенно не постигают внутренних, скрытых движений, которые помогают понимать друг друга без слов» [Танидзаки 1984: 271]. Как и Токиэда Мотоки в области лингвистики, Танидзаки в области литературы призывал отбросить западные влияния и вернуться к классическим традициям, основанным на бедности словаря

и богатстве контекстных нюансов и соответствующим национальному характеру. Такие идеи западные исследователи сопоставляют с современными им идеями фашистской Германии [Dale 1986: 81], но если в Германии они отброшены, то в Японии взгляды Танидзаки и сейчас развиваются в исследованиях по *nihonjinron.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.